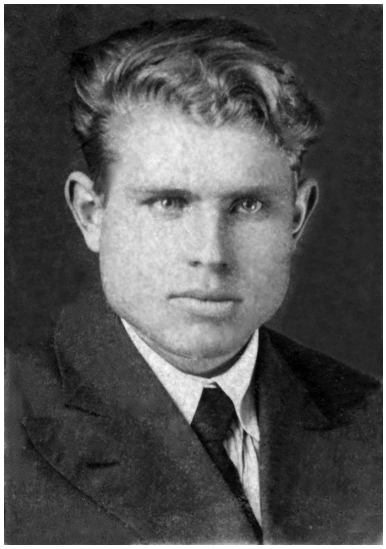
Ушедшее в настоящем



О. Марута. 1938 г.

О Великой Отечественной войне и послевоенном периоде нам уже многое известно, но не все. Воспоминания людей, перенесших ужас немецкого плена, оказавшихся волею судьбы по разные стороны баррикад «холодной войны», дают непривычный срез исторического времени, разрушают парадный образ официальной историографии и заставляют размышлять о затертом ныне понятии «патриотизм». Люди военного поколения проявляли патриотизм не только в сражениях, но и в плену, в лагере и даже в эмиграции.

Олег Марута, прожив большую часть жизни за границей, никогда не переставал думать об Отечестве. Именно это слово, а не привычное для нас слово Родина, было в употреблении в кругу его семьи, воспитавшей его в традициях российской дореволюционной интеллигенции.

Жизненный путь О. Маруты был непростым. Он родился в 1914 г. в г. Тетюши Казанской губернии. Его фамилия полностью звучит как Марута-Сукало-Краснопольский и принадлежит к старинному дворянскому роду*. 15 лет детства прошли в Тетюшах. С этим периодом связаны светлые воспоминания о семье, друзьях, книгах, путешествиях по Волге, в то же время это были годы стихийных и социальных бедствий «с голодом, холодом, постоянно пустым желудком, страхами, бесправием и поветриями бесчисленных эпидемий»[1], когда вокруг вымирали целыми семьями.

В советские годы его отец был расстрелян как белый офицер, и Олег со своими братьями и сестрами остался на попечении у своего дяди, которого позже ждала та же участь.

В 1938 г. О. Марута окончил Казанский ветеринарный институт. С анкетными данными дворянина и сына расстрелянного белого офицера он не мог поступить как его отец и дед в Казанский государственный университет. В 1939 г. Олег Михайлович был призван в армию, где через полгода назначен начальником ветеринарной службы полка гаубичной артиллерии. На пятый день войны, 27 июня 1941 г., он был схвачен немецкой полевой жандармерией во время купания в речке. Следующие несколько лет он провел в немецком плену в рабочей команде близ бранденбургского города Науен.

В середине апреля 1945 г. О. Марута во время всеобщего бегства от наступающих советских войск бежал из лагеря, не веря, что ему дадут спокойно жить в России. С 1945 по 1951 г. он провел в лагерях для перемещенных лиц («Ди-Пи») в Регенсбурге и Ингольштадте (Бавария), где в 1947-1951 гг. был участником издания и сотрудником редакции газеты «Эхо» на русском языке. В 1946 г. он женился на

* Подробнее о роде Марута-Сукало-Краснопольских см.: Астафьев В., Сыченкова Л. Казанские страницы в судьбе Марута-Сукало-Краснопольских // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2006. – № 2. – С. 242-251.

Тамаре Кремповской, и в 1947 г. у них родился сын Владимир. В 1951 г. семья переехала из Германии в Венесуэлу. Страной, в которую они прибыли в 1963 г. и которая стала домом для них на все последующие годы, стали США: Балтимор, Нью-Йорк, Калифорния… В 1968 г. Марута получил американское гражданство. Профессию он выбрал творческую — журналист.

Необходимо отметить, что «фамильными чертами Марута-Сукало-Краснопольских стали любовь к книгам, музыке, врожденное чувство вкуса, природный ум, интеллигентность»[2], почти все они обладали литературным талантом. Олег Михайлович не является исключением, он мастерски владеет словом. Свои литературные произведения он публиковал в эмигрантских изданиях: в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) под псевдонимом «О. Мар.», в газете «Русская жизнь» (Сан-Франциско) под именем «В. Казанкин» (Василий Казанкин). Под политическими статьями он подписывался «О. Краснопольский», под стихами — «О. М.». В последние годы Олег Михайлович работал в русской редакции радиостанции «Голос Америки».

Таково краткое описание жизни этого интересного человека, 26 лет из которой он провел в России, четыре года в немецком лагере, 68 лет в эмиграции. Сейчас Олегу Маруте 93 года и он находится на заслуженном отдыхе, у него трое детей, многочисленные внуки и правнуки. Несмотря на возраст, он продолжает интересоваться событиями в России, Татарстане. Полученный им номер журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» он прочитал за месяц от начала до конца и даже принялся читать со словарем по-татарски.

Отрывки из воспоминаний Олега Маруты, опубликованные в форме рассказа «Ушедшее в настоящем» в газете «Русская жизнь» (Сан-Франциско) середины 1960-х гг., основаны на эпизодах из жизни военнопленных в рабочей команде в Германии во время Второй мировой войны, написаны в эпистолярной форме — в виде переписки Василия Казанкина и его земляка и товарища по плену Ивана Ступина.

По-разному сложились их судьбы после войны, но удивительно, что бывшие солагерники описывают и годы плена, и послевоенные будни с одинаковой интонацией легкой иронии, грустной усмешки над обстоятельствами суровой действительности. Вероятно, война их сделала философами и научила без горечи и обид вспоминать прошлое и несколько отстранено воспринимать настоящее.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Из письма О. Маруты в редакцию журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».
2. Астафьев В., Сыченкова Л. Казанские страницы в судьбе Марута-Сукало-Краснопольских // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2006. – № 2. – С. 250.

Фото из личного архива О. Маруты.

Лидия Сыченкова,
доктор исторических наук

«УШЕДШЕЕ В НАСТОЯЩЕМ»

1. Нежданное

На днях получил письмо. Штамп московский, почерк и фамилия незнакомые. Хотел уже выбросить, решив, что от комитета: там всегда выдумывают разные фокусы, лишь бы всучить свои послания, но что-то удержало меня, будто сказав: «Да прочти его, а выбросить всегда успеешь». И я вскрыл конверт, начал читать, ахнул, глазам своим не поверил, опять мне сдавило сердце болью давней тоски, и такая на меня нахлынула волна воспоминаний, что в глазах помутилось, и нужно было некоторое напряжение воли, чтобы снова вернуться к чтению этих не очень ровных строк и букв, округлых как нижегородское «о», лилово расползающихся по серой тетрадной бумаге.

Нельзя было не взволноваться: ведь письмо это было совсем необычным, как из дру-

гого мира, из других измерений и другого времени, из далекого «вчера». И оно в миг зачеркнуло целое двадцатилетие, сделало его небывшим, вернуло меня в позабытый барак, где два ряда двухэтажных коек, чугунная печка, «фердункелюнг» на окнах, и нас двадцать человек — молодых и старых, бритых и бородатых, веселых и мрачных, но живых и полных надежд и мечтаний. И увидел я за строками письма большое круглое лицо, серые глаза с хитринкой, рыжие усы и бороду перьями во все стороны, и услышал нижегородское оканье: «Ну, робя, вот кончится война, приду я в свою Белуху да выйду на улицу, а бабы увидят меня и скажут: “Ну и черт же этот Ванька! Ни рожна ему не делается. У нас всех мужиков побило, а ему все ништо. В тюрьме сидел — здоровый как боров пришел. С войны вернулся — еще здоровее... Сам черт ему брат!” А я и запою им: “Чижик-пыжик, он черту брат...”».

И письмо начиналось таким же оканьем:

Добрый день, дорогой комрад Василий Павлович! Из далекого села Белухи, того же района, Н-ой области, огромной матушки России, от Ивана Ступина низкий поклон и привет. Пишу я тебе сейчас, а сам думаю: авось ты еще не позабыл тех, с кем когда-то делил лагерную хлеб-соль, а вернее — баланду и картошку? Или забыл? Обогрелся на теплом солнышке, отъелся на американских хлебах? Ну, ежели забыл, я напомню: пишет тебе Иван Иваныч, по лагерному прозвищу Колхозный купец. Теперь, поди, вспомнил? Я же вот тебя часто вспоминаю и помню, как ты говорил: «С кем вместе мерз, вместе голодал — вовек не забыть». Теперь, почитай, без малого скоро двадцать лет будет, как ты ушел от нас из барака. Не хотел ты своих дожидаться и подался на Запад, а мы остались. С тех пор, как прежде говорили, много воды утекло, а прошли эти два десятка лет будто день один, а вот те четыре года, что мы в одном бараке пробыли, — будто целый век.

Ну и рад же я, что мне писать тебе довелось! А ведь не был я тебе каким дружком или напарником, а был ругателем твоим, спорщиком, поди, обижал тебя не один раз (да ты не обижался). А главное — не хотел верить тому, что ты нам говорил.

Ладно. Ну вот, на другую ночь, как ты с Витькой и Колькой ушли из лагеря, все и кончилось. А, может, только тогда и началось. Только проснулись мы утром, смотрим, а в деревню уж прут наши танки. Чего тут только ни было! Ну, конечно, «ура», «да здравствует», слезы, смех, песни, водка рекой. Ну а потом такое началось, что лучше о том и не писать, хоть и давно это было. Ну, вышло все так, как ты загодя говорил. А помнишь, как я бахвалился: «Вот придут наши, уж и побалуюсь я с немецкими девками!». Куда там! Побаловался! Так с нами побаловались, что и плен-то раем показался, а о всяком там баловстве и думать позабыл.

И не увидел я ни своей Белухи, ни бабы, ни ребятишек, ни Волги-матушки.

Сам помнишь, как мы думали: «Ну, месяц-другой продержат, пока проверяют, да туда-сюда, а потом скажут: “Айда-пошел, ребята. Война кончилась — по домам!”». А нас еще в Германии цельный год мучили, сперва в армию погнали, а потом прямым порядком в то самое место, про которое Егорка-белоус пел, а мы смеялись: «Далеко, близко Черного моря, где кончается Дальний Восток».

Попали мы в то место и видим: море-то совсем даже и не Черное!

Ну ладно. Плакать и тогда было поздно, а теперь и совсем. Тут-то я тебя опять вспомнил и как тебе говорил: «Ну, ежели что и выйдет по-твоему, то всегда с нами есть Зеленый прокурор». То есть — в лес и айда в кусты, ищи беглого волка. Да только вижу, что тут шутки не шутят и леса-то нет, и перестали мы о том прокуроре думать.

Ну, рассказывал я всем ребятам, как ты нас учил уму-разуму, а мы только кричали на тебя. А все отвечают: «А мы что? Не знали, что ли? Все знали, да некуда податься было»!

Да, дело прошлое... Лагерь так лагерь — горевать поздно. Стали жить, работать да ждать. Ну, кто не помер — тот жив остался, только и всего. А как загнулся наш отец народов, попал к черту на рога, вышла нам амнистия. Говорят: «Езжай, робя, кто куда хочет!». А я думаю: куда мне ехать, кто меня в Белухе ждет?

Поди, схоронили и поминать позабыли? Ну, и говорю в шутку: «А можно мне назад в Германию?». «Что ты, говорят, очуманел? Там теперь американские янки — фашисты... Поезжай туда, где родился. В колхоз свой катись...» Ну поехали.

Дорогой шумели: деньги были, водка была, пили, пели, кричали, дрались, плакали, а веселья не было. Каждый думал: а как там, дома-то? А когда из лагеря отправляли, гово-

рили нам: «Не узнаете, товарищи, теперь воли. Такая теперь жизнь кругом идет! Такой разворот, просто жить, то есть умирать, не хочется».

Приехал. Иду селом, ищу избу и думаю: где же этот подъем и разворот? Села своего узнать не могу: все обветшало, покосилось, посерело, ни деревца, ни забора, будто только что война прошла или мор. Ни мужиков, ни баб, ни парней. Вижу старик незнакомый сидит на солнышке, греется, в мае уже это было, спрашиваю: «Где, отец, народ-то?». «Какой, — говорит, — народ? Если бабы, то они все по работам, а народа, мужиков-то есть, нет. А которые есть, так все в правлении лясы точат. Туда и ступай. А я не здешний и ничего сказать тебе не смогу».

В правление, конечно, я не пошел — чего мне там делать? Подхожу к своей избе и ее узнать не могу... Да что вспоминать: все это дело уже прошлое и не расскажешь теперь, что тогда было у меня на сердце. Захожу в избу — никого, одна кошка, да и та меня увидела — убежала. И первое, что увидел в избе: иконы в переднем углу — Никола Угодник и Богородица. И так-то мне сразу на душе хорошо стало, легко так и радостно. А тут и баба моя, Любовь Никитишна, пришла, с работы прибежала. С порога-то не узнала меня, испугалась, а потом заголосила, запричитала. Ну и я вместе с ней. А потом спрашиваю ее: «Где же ребятишки-то?». «Какие, — отвечает, — ребятишки? Мишка-то уж в солдатах, сержантом в Германии служит, а Клавка второй год замужем, в Костроме; помог Бог из колхоза-то выбраться. Хорошо живет, мужик-то наш бизяевский, лоцманом плавает». «Ну а Катя, меньшая? Она как?» «Катя, — баба опять в слезы, — померла Катя-то, в войну схоронили, не выжила, не выдержала...»

«Вот тебе и на! — думаю, — годы-то прошли, жизни-то сколько прошло!» «Стало быть, — говорю, — старики мы с тобой?» «Выходит, что старики», — отвечает. «Ну что же, — говорю, — старики не старики, а жить надо!» «Да какая теперь жизнь?.. Беда одна, да работа, да забота...» «Бог поможет, — отвечаю. — А иконы-то ты сама повесила?» «Кто же, как не я! В войну еще. Но только теперь, Иван Иваныч, сымать уж не позволю!..»

А я, знаешь, как услышал это, так прямо ей по-старинному в ноги поклонился. «Спасибо, — говорю, — тебе, Любовь Никитишна! Выходит, одинаково мы в эти годы думали». […]*

И начали мы снова жить в своей Белухе. Поначалу, было, пошел в колхоз, бригадиром. Мужиков-то, почитай, совсем нет. Одни бабы. Страх смотреть, как работаю. Ну, потом нашел старых друзей, говорят мне: «Что ты, Иван Иваныч, при твоих ли умениях в колхозе ишачить? Действовать надо».

И начал я действовать, взялся за старое, как до войны: то в Москву, то в Ленинград, то еще куда. Там купишь, здесь продашь. И не думай, что как спекулянт. Нет, все чин по чину, как бывало, представитель колхоза «Завет Ильича» со всеми документами и полномочиями. Ну, конечно, снабжал весь район: одному коверкоту японского на костюм, другому крепдешина жене на платье, третьему еще чего. Не помажешь — не поедешь. А нашему только дай — и делай дела.

Зажили мы с бабой. За два года встали на ноги, избу поправили, туда-сюда, всякое хозяйство в доме. Мне уж говорят: «Покупай “Волгу”, Иван Иваныч! Без машины теперь нельзя. Будешь нашу продукцию возить!»

До машины я не дошел, а заиметь мог бы.

Ну а когда наши спутник запустили, вышла у меня неудача. Не повезло. Видно, нашему районному прокурору возжа не туда попала, или не потрафил я ему чем, или просто зависть его заела, что, мол, вот он «новый класс», а без нашего брата обойтись не может. Одним словом, он меня за конверт и в ящик!

Отсидел я свое как миленький. Когда же домой пришел, думаю: хватит, Иван Иваныч, пускай другие делами занимаются, а у тебя прошлое с пятном — пропадешь. Но в колхоз все же не пошел. Ну его! Не в бригадиры же идти? И работаю теперь вроде как заведующим точки «Заготплодоовощи». У баб и ребятишек малину да грибы принимаем, а нас за это ругают, что мы колхозников от работы отбиваем. Ругать-то ругают, а вареньице кушают.

Конечно, можно было бы и теперь развернуться, особенно при теперешних-то достижениях, да опасно. Время теперь не то, нашему брату, мелкой сошке, ходу нету, теперь

* Здесь и далее текст был подвергнут сокращениям, не влияющим на его смысловое содержание (прим. ред.).

все больше из этого самого «класса» делами занимаются. А случись кому-нибудь, бабе, к примеру, какой, на станцию десяток яиц отнести, чтобы продать, сразу заорут: «Спекуляция!». И пойдут, и пойдут, и упрячут бабу на несколько месяцев.

И не дай Бог в тунеядцы попасть! Это уж совсем конец. Но развелось их, тунеядцев этих самых, видимо-невидимо. Чуть что — «тунеядец».

А вот, к примеру, один случай: был у нас в районе ветеринар, доктор Борис Абрамыч, святой человек, золотой, тихий такой, а семья большая — на девяносто рублей не проживешь. Вот он и решил к праздникам свинью выкормить. А потом попросил своего фершала продать. А фершал-то засыпался, а может, просто был сволочь, только нашего доктора упекли на полную катушку. И ведь что на суде сказали? Будто был он какой-то «францовщик» (слово-то какое выдумали!), будто иностранной валютой торговал. А он, сердешный, отродясь никакой валюты, кроме своей кровной зарплаты, не видал.

Да и то сказать, повезло ему: других по таким делам на луну без «спутника» посылают. Ну посидит он год-другой, а там, может, Бог даст, какая перемена будет.

У нас только про перемену и говорят. Прямо как, бывало, пленные говорили: «Еще немного как-нибудь, а потом перемена будет». Так и мы теперь. А слухи иной раз такие ходят, что почище лагерной параши. Все же как будто перемен много: говорят вот, что того, что при культе было, теперь уж нет, но в какие-нибудь тунеядцы угодить можно за твое-мое. У нас теперь такая поговорка есть: «Культа-то нет, слава Богу, только вот культя осталась». […]

Ты, чай, думаешь: откуда он адрес узнал, как нашел меня? А все, знаешь, по пословице: «Гора с горой не сходится». А мы сошлись. Может быть, и увидимся еще. Получилось же так, что прошлым летом прислали к нам в область нового доктора, в клинике он теперь за главного. Все говорят, что уж очень доктор хороший. Ну — человек уже в летах и при культе хлебнувший всего.

Собрались и мы с женой и поехали к нему. Дождались приема, а когда он осматривал да прослушивал меня, разговорились мы. То да се! Где сидели да где были; войну вспомнили, плен. Когда же он услышал, что я в плену был, говорит: «Вот и у меня брат в плену сидел». И начал рассказывать. А я спрашиваю: «Да как звать-то его? Фамилия-то как?». «Как фамилия? Как и моя — Казанкины мы. Здешние. Казанкин Василь Павлович».

«Так это же Васька, — кричу, — студент наш!»

Тут я и узнал, что доктор-то, Павел Павлович, брат твой. И стали мы друзьями с того разу. Пригласил он нас к себе. Выпили мы за твое здоровье. Карточку показал он твою, как ты около своего «форда» стоишь. Порадовались вместе за тебя. Ну и адрес он мне твой дал. Просил передать тебе, чтобы не обижался за редкие письма. Говорит: «Сам знаешь: пуганая ворона куста боится». […]

Ну, с Богом! Кланяется тебе жена моя, Любовь Никитишна, а также сынок с внучатами. И не забывай того, с кем вместе мерз и голодал. Твой камрад по гефангенен лагерю Иван Иванович Ступин. […]

2. Письмо второе

И обрадовал же ты меня, Василь Палыч, своим письмом! Как порадовал! Просто, что называется, уважил, да и только. А сказать по правде, не чаял я твой ответ получить. И не так думал я, что ты мне не ответишь, а боялся, что не долетит мое письмо до тебя, или твоему письму лететь не дадут. Ведь есть всякие такие, что могут письмо пустить или не пустить.

А намедни смотрю, идет почтарь наш, Семен Безрукий, и кричит мне: «Жарь, Иван Иваныч, твисту! Письмо заграничное несу!..». Беру я то письмо в руки, гляжу на забавный, разукрашенный конверт и даже глазам своим не верю, а Семен Безрукий шепчет: «Что же ты не пляшешь, дьявол, ведь теперь, как пить дать, посылку отхватишь. Не забудь мне тогда стаканчик поставить». «Что ты, — говорю, — какая тебе посылка? А поднести всегда можно, хоть теперь».

Поднес ему стакан. Выпил он, крякнул, закусил, как положено, рукавом и говорит: «Не дозволяют нам при исполнении обязанностей пить-то...». А я думаю: проваливай ты скорее! Дай письмо посмотреть. Ну, провалился он, а я за письмо.

Стал читать и, знаешь, стыдно даже сказать: слеза прошибла, и строчек не вижу. Потом читал и радовался: слава Богу, устроился человек! Хоть, должно быть, и тяжело, а

живет — не тужит. Семью имеет, ребятишек. Только обидно мне показалось: не прислал ты мне карточки, что я просил. Потом думаю: может с первого письма-то нельзя? Попрошу другой раз, он и пришлет. […]

Ну, потолковали о том о сем, а только за ужин сели, к нам гость незваный. Товарищ Суздалов. Мой го́док, вместе в школе учились, в армии служили. Только после армии он в Сормово подался. Отчаянный был парень; говорили, что в Сормове первым хулиганом был. А потом на фронте отличился, судьба-то у каждого своя; орден заработал, ну и в партию записался. А теперь у нас вроде начальства — начальником почты.

Что, думаю, тебя нелегкая занесла? Как я из плена да из лагеря вернулся, он и здороваться со мной позабыл. А тут говорит: «Принимай гостей! Старых друзей». Что же нам? Приняли. Сейчас, что было — на стол; самовар, пол-литра Московской. И начал он со мной разговоры вести о том о сем: о войне да плене, да как при культе пострадал, да о заграница, что вот, дескать, много там наших из-за бывшего отца народов осталось. А я все слушаю его и думаю: «Что мне с тобой лясы точить? Кто тебя знает, какой ты теперь человек?».

Он же все крутил вокруг да около, а потом и говорит: «Вот ты теперь связь с заграницей заимел. Ну что ж, теперь это не как раньше. Развивай ее, связь-то. Культурный обмен, стало быть. Да нечего там одни поклоны, да приветы, да как поживаете. Ты теперь своему дружку так и пиши: дескать, сам из газет, чай, знаешь, недород у нас и временные затруднения. Неплохо было бы посылочку из сытых краев получить... А я тебе скажу, что у него просить, какой товар у нас в цене».

«Что ты? — говорю. — Как я у товарища по несчастью буду посылку просить? Человек он рабочий, у капиталистов в эксплуатации, семья же большая, сам, поди, нуждается».

«Брось ты, Иван Иваныч, мне заливать! Нуждается! Эксплуатация! Ты это в колхозе на собрании говори, а меня учить нечего: скоро двадцать лет стажа иметь буду. А там, где твой корешок, любой нищий лучше нас с тобой живет. Ты посмотри, какие посылки Захарьевна от Ваньки из Австралии получает! Ведь полный торгсин, как раньше говорили. А что Ванька? Писал, что полгода не работал, больным был. А посылки слал. Вот она и живет и другим заработать дает. А тебе и делать ничего не надо: получил посылку, а дальше уже моя забота. Десять лет этим занимаемся. Знаю, что и кто получает и куда опустить можно. Дело чистое. Это тебе не огурцами в Москве торговать».

Что ему ответишь? Говорю, лишь бы отвязаться: «Ну, когда посылка будет, тогда и разговор поведем». «Дело ясное», — отвечает. Едва выпроводил его. Таким другом стал, хоть куда! Прямо как, бывало, в лагере: подшакалишь через проволку у французов сигарет, и к тебе сразу как к министру: Иван Иваныч, не хочешь ли паечку хлебца? Иван Иваныч, целый баян баланды имею. За закур уступлю. (Помнишь, как котелки большие баянами звали? Теперь аж смешно!)

На другой день взял я твое письмо и мотнулся в Муром. Помнишь такой город? А зачем туда поехал, потом узнаешь. Теперь же хочу вспомнить старое. Помнишь нашего Химика? Называть я его по имени не хочу. А напомню тебе: был у нас в команде парень, земляк наш; такой бравый, кудрявый, рыжий, песни хорошо пел и так здорово рассказы рассказывал. Студентом он был, не то ветеринар, не то еще какой. Да рассказывал нам как-то раз про то, как из спирта можно наливки и водку делать. Вот за это его Химиком и прозвали. Так вот, работали мы однажды на станции; тебя же с нами не было, ты, кажись, у баура работал. А было это в самую осень 44 года, и разгружали мы платформы да вагоны со всяким барахлом, что немцы волокли из России да Польши. И был там состав с разбитыми автомобилями.

Ну, мы, сам знаешь, все вагоны, все машины обшарили: нет ли чего. И вот в одном грузовике под шоферским сиденьем нашел наш Химик пистолет. А был с Химиком только я, и никого больше. Пистолет же совсем исправный и с полной обоймой. Химик и говорит: «Время теперь горячее. Войне скоро конец, и такая игрушка нам как раз пригодится. Только ты помалкивай». А тут Егорка-санитар заскочил. Увидел, стал расспрашивать. «Дай, — говорит, — выстрельну». Побожился, конечно: «Честное, — говорит, — комсомольское, молчать буду». И никто об этом не знал кроме нас.

Так, спустя того месяца три, помнишь чай, налетели в барак немцы, всех нас по стенкам расставили, сказали, что перестреляют, но сделали только обыск, все перерыли, даже

пол в бараке перевернули и в печке рылись. И ничего не нашли, а Химика увели. И пропал наш Химик. А через два дня Егорку-санитара забрали. Да все ты это должен помнить и помнишь, поди, как нам было невдомек, за что ребят забрали. Я молчал. А все говорили, что, верно, ребята бежать хотели. Вскоре и ты с дружками из лагеря смотался. Ну а нас освободили и замели.

А прошлым летом был я случайно в Муроме и зашел по делам в казенку. Смотрю, человек водку покупает, и таким знакомым мне показался: где-то видел. Потом посмотрели друг на друга и узнали: «Химик!» — кричу. «Купец, — говорит, — колхозный!» Обнялись, облобызались. Ну и изменился же человек! Конечно, все мы постарели, да только Химик-то совсем другим стал, придавленный какой-то, убитый. Не то что с гитарой петь, как бывало, а и говорить-то не хочет, все молчит. Ведь вот, в плену весельчак был, а на воле как побитый.

Но обрадовался мне, к себе повел на квартиру. Хорошая квартира, а живет человек бедно, хоть и зарабатывает немало. Ведь и впрямь химиком оказался! Химик-инженер. И рассказал он мне, что и он пострадал много и что только четыре года как на воле, а то все по лагерям мыкался. И хоть освободили его наши из штрафного, когда он уже доходил, а потом, как в лазарете на ноги поставили, не было и ему снисхождения: какой же ты, говорят, комсомолец, если четыре года в плену сидел, не бежал, не убил никого, родину не защищал! Особенно много он не рассказывает, таким молчаливым стал, рукой машет да говорит: «Что было, то прошло. Больше, говорят, не повторится… А кто знает?».

После лагеря жил он на Урале, женился там (первой-то жены не нашел) и на родину приехал, в Муром. Говорит мне: «Я, Иван Иванович, долго грешил, на тебя думал, что ты это немцам донес. И так мне за тебя обидно было: земляк, свой парень и на тебе! А потом повстречался мне Егорка-санитар. И ведь где встретились-то? В госпитале, в лагере. В Воркуте… Умирал тогда Егорка и много плакал, прощения просил: «Дурак я, говорит, был. Донес на тебя сперва немцам, а потом, когда к своим попали. Показал, что ты заявление в РОА подавал. Агитировал нас против Сталина… Думал погубить тебя, а сам благодарность получить. Прости, брат…» — плачет. Простил, конечно. Сам вместе с ним плакал.

Так вот, как только получил я твое письмо, так сразу и мотнулся в Муром к Химику: дай, думаю, и его порадую. И порадовал. Повеселел даже человек. «Вот, — говорит, — как хорошо! Хоть одному из наших повезло. Ведь и я тогда тоже, как и Васька-студент, сделать хотел. Для того и музыку ту прятал: пригодится, думал. А ведь немцы тогда ее так и не нашли. Может, и теперь еще лежит там же за бараком, под сосной… Да все, верно, судьба. Что хотел сделать, то не вышло. И все из-за жалкого, глупого человека. Да Бог ему судья… Не Егорка виноват. Только как мы тогда не догадались, что он за человек, когда будто он в шутку кричал: “Вот придут наши, и скажу я им, что был санитаром в лагере Шаулай и выполнял приказ Сталина, изничтожал врагов народа, изменников родины…” Ведь слушали мы тогда Егорку и смеялись…»



Тамара и Олег Марута-Сукало-Краснопольские. Лос-Анджелес, 11 июля 1996 г.

И то скажу я тебе, Василь Палыч, дураки мы были. А Химика жалко, брат, жалко: пьет он, сердешный. Хороший человек, оттого и пьет. Конечно, все мы пьем, но только он нехорошо пьет. А вот в тот вечер, как я ему письмо твое принес, выпили мы с ним только по маленькой, а ведь всю ночь сидели да вспоминали.

Когда же возвращался я

домой, на станции слышу: вашего президента убили. Как убили? За что такого человека убили? Услышал я это, и будто меня кто в сердце полоснул: «Ведь вот, думаю, таких как Гитлер был или других таких никогда не убивают. А тут ни за что ни про что трах и убили. И кто убил? Сопляк какой-то! И будто в Минске он жил и баба у него наша…

И даже чудно: еду домой, а в вагоне народ все сидит скучный, друг на друга даже не смотрят. Будто не у вас в Америке человека убили, а у нас, своего, родного. Домой приезжаю: баба плачет: «Убили, — говорит, — подлецы… Теперь быть войне. И зачем такого человека убили? Потому что в Бога веровал, войны не хотел... Безбожников-то никогда не убивают».

На этом писать кончаю... […]

Кланяется тебе моя старуха. Будь здоров и не забывай. Твой камрад по плену И. И.

3. Давнее

Вот и второе письмо пришло, уже ответное. Больше месяца лежит между первым и вторым письмом, и все это время я только то и делаю, что роюсь в архивах своей памяти, открывая то ту, то другую страницу, то заглядывая с конца, то сдувая пыль с первых полинявших листов. Днем на работе следишь за машиной, а сам беседуешь, продолжая мысль, начатую в письме, или отвечаешь на реплики и замечания тех, с кем невольно приходилось встречаться, жить, странствовать, страдать и надеяться.

Заставил же Иван Иванович оглянуться на оставшееся далеко позади, от многих картин которого охватывает жуть, что возвращается теперь только кошмарами снов. А начнешь отвечать на письмо — и не знаешь, с чего начать, мысли перескакивают с предмета на предмет без последовательности и логической связи, и опять воспоминания былого оттесняют все.

А тут еще и боязнь появилась за Ивана Иваныча: пишет он неосторожно, откровенно, все, что думает. И начал я свое второе письмо с предосторожностей, хотел даже по-прутковски крикнуть: «Бди!» Ведь быть бдительным для тамошних людей означает не столько хранить интересы государства, сколько свои собственные жизни и безопасность. Быть бдительным в той жизни — значит быть хорошим конспиратором, быть раздвоенным на явного и подпольного.

И каждый раз, начиная письмо, думаешь: «О чем писать?» Писать ли правду о настоящем или предаваться лишь одним воспоминаниям? Писать о настоящем? Рискуешь, что письмо твое никогда не дойдет из-за тех, про кого Иван Иваныч сказал, что они могут пустить, а могут и не пустить... Получается замкнутый круг: они не могут нам писать всю правду, не могут без риска быть откровенными с нами, потому что ударом бича над каждым из них висит неумолимое «Бди!» А мы не можем писать обо всем ради благополучия наших друзей и близких. Что же тогда писать? Про калифорнийское небо, про волны Тихого океана, про воздух свободы, которым мы дышим, или о скуке каждодневной работы и наших домашних забот?..

И я отодвигаю в сторону начатое письмо, откладываю перо и, подняв штору, смотрю в ночь, где темная серость и силуэты домов противоположной стороны улицы. Здесь тихо, как в деревне. Сюда не доносятся шумы большого города, а трудящийся люд по своим домам или уже спит, или сидит за телевизорами. Иногда лишь прошелестит по асфальту автомобиль, или засвистит, загрохочет над крышами домов джет, и напомнит грохот катящегося по рельсам поезда, как бывает, когда сидишь в вагоне, а мимо пролетает, блестя светом огней, встречный поезд. Смотришь в окно на это мелькание, а потом, когда смолкнет грохот, увидишь какие-то серо-желтые станционные сооружения, голые деревья, размахивающие мокрыми ветвями под ветром; а дальше, за двумя-тремя линиями путей, виднеется равнина, серая от талого снега и чернеющих проталин, над ней серое небо в мчании рваных и злых облаков...

Но наш поезд трогается, я перевожу взгляд на стену над сиденьем: там в рамке под стеклом карта. Это Померания: наверху Балтийское море, ниже — сеть железных дорог и точки городов, селений, станций. Я отыскиваю глазами город Штаргард — Старый город. Я еду туда. Меня везут туда... Там есть на болоте за городом лагерь для пленных — Шталаг номер такой-то. Там ряды тоскливых бараков, колючая проволока, сторожевые будки. Поодаль — бараки с душем и газовые камеры для дезинфекции. А за шоссе,

где генераторная подстанция, тоже есть проволока, только не колючая, и оттуда днем и ночью неустанно и надоедливо доносится до лагеря крик уток и гусей; там бело от этой птицы, а мы, слыша этот птичий гам, думали, что гуси счастливее нас, хоть разница в том, что ее иногда бьют, а нас избивают и вымаривают.

У лагеря есть два входа: один вроде парадного с красиво раскрашенными воротами, полосатой будкой часового, с чистенькими асфальтовыми дорожками и аккуратными бараками канцелярии и казарм для солдат охраны. Тут же лагерь для пленных французов, с полем для футбола. Здесь по асфальтовым дорожкам маршируют мрачные солдаты, и бродят — руки в карманы — в голубых шинелях-распашонках бородатые и небритые французы с сигаретами, приставшими к нижней губе. Попасть на миг в эту часть лагеря — счастье для русского пленного: по асфальту и в мокром снегу валяются бесчисленные окурки! Здесь и кухни с паром и запахами пареной брюквы и гнилой капусты. Здесь флагшток, а на нем красное с хищным дьявольским крестом знамя Третьей империи.

Другой вход прост: там несколько рядов колючей проволоки, сторожевые будки с пулеметами; нет асфальта, а шлак и грязь. Через тот вход вводят в лагерь колонны пленных и вывозят в бричке, запряженной парой полудохлых лошадей, трупы русских людей.

Некогда поздней осенью я в числе других пленных был введен в эти ворота, но я не думал словами Данте: «Оставь надежду навсегда», я не оставлял надежды, да и ворота эти были уже не первыми.

В этом лагере я пробыл около четырех месяцев, но, по обилию комаров, по неисчислимым смертям от холода, издевательств и безнадежности, эти четыре месяца равны столетиям. Все пройденные до этого лагеря — страшный остров Мазовецкий, мучительный Торн — были лишь подготовкой ко всему тому, что пришлось здесь увидеть и перенести. Здесь я думал, что если бы Данте попал хоть на миг сюда, он принял бы этот лагерь за наихудший из всех кругов ада.

Я попал сюда в начале ноября вместе с двумя тысячами пленных, предназначавшихся к отправке на работы в Норвегию. Это был незабываемый своим ужасом, разверзшимся над миром, 1941 год. Карантин задержал нас на зиму, и к концу февраля, когда началось формирование и отправка на работу команд, от этих двух тысяч осталось не больше тридцати-сорока дистрофиков-доходяг, если не считать всяких лагерных полицаев, санитаров, старших бараков и их прихлебателей. Тогда в одну из рабочих команд попал и я.

Стоял февраль, но зима только что начиналась. Валил снег, и было жгуче холодно. Промокших от снегопада и окоченевших от мороза, нас загнали, запихнули в товарный вагон и куда-то повезли. Нас было двадцать человек. Нас везли на север, везли медленно, с остановками, всю ночь. И мы замерзали в этом вагоне, и кто мог, тот прыгал, кто мог — топтался на месте, лишь бы как-то согреться, дожить до утра.

«К панам!.. Едем к панам!..» — повторяли все. Эти восклицания меня раздражали и злили. Слово «пан» в условиях Германии казалось мне совершенно диким и неприемлемым, но наши люди так называли немецких крестьян, и «попасть к пану» считалось за величайшее счастье. Это слово всех согревало и поддерживало надеждой: «Едем к панам! Будет работа, будет еда... Ведь не заставят же работать без еды? Будет картошка...». Картошка! Наконец-то исполнятся, станут явью страстные сновидения, и картошка из мечты, из недосягаемой идеи, станет реальностью. Спасительной реальностью...

Утром двери вагона раскрылись, и под крики «Лос, лос! Пся крэв! Швайнарай! Фердамт!», подгоняя прикладами, нас заставили выползти из вагона и вползти — у большинства от холода ноги не двигались — в ожидавшую повозку. Трактор «Бульдог» затарахтел, и мы поехали по занесенной снегом дороге. Проехали маленький уютный городок Лабос. Приятно было, лежа в соломе, так по-родному пахнувшей, видеть, после могильной серости лагеря, заснеженные поля, синюю тень леса и как, завидев нас, замирают у своих кормушек с сеном стройные косули и, мелькнув своим белым задом, скрываются в снежных холмах. Это была Померания. Вспоенная славянской кровью земля…

В этой команде я пробыл недолго. Случилось так, что с первого дня я стал объектом общей нелюбви. Уж одно то, что меня почему-то в лагере окрестили студентом и писарем, давало повод ко всеобщему презрению. И как нарочно все в этой команде подобрались бывшие колхозные шишки — бригадиры, счетоводы, профилактики, сельские активисты и профсоюзные выдвиженцы, и ни одного настоящего рабочего или интеллигента. К тому же я оказался самым слабым физически: все остальные были недавно прибывшие в лагерь

от крестьян из Литвы, и никто из них не перенес страшной зимы, голода, лагерных издевательств, тифа. Немцы тоже сразу увидели во мне нечто отличное от остальных, а то, что я не проявил ни угодничества, ни заискивания и как-то говорил по-немецки, насторожило их и восстановило против меня.

Работали мы в лесу. В своих тяжелых и неуклюжих сабо на отекших ногах мы глубоко увязали в снегу, доходившем до пояса. Но мы должны были выкатывать и выносить на плечах на дорогу тяжелые сосновые бревна. И всегда, видя во мне сложение бывшего спортсмена и явные следы былой силы, меня ставили одного под толстый конец бревна. И, когда я не мог поднять его или падал под его тяжестью, страшная матерщина и крики обрушивались на меня и со стороны немцев и от своих. «Из-за тебя, — кричали мне, — нам пайку урежут или в лагерь вернут! Работай, интеллигент недорезанный!.. Вон какие плечи! У Сталина, поди, тоже на нашем хребте ездил!..»

В нормальных условиях эта работа в лесу не была бы чем-то тяжелым, к тому же я с нею хорошо знаком: работал некогда на лесных разработках Северного Урала. Когда приходилось работать топором, я мог бы показать настоящее искусство, но руки, едва удерживающие кружку с водой, не могли справляться с тяжелым немецким топором. Но немцы увидели это мое умение и вскоре из леса перевели меня на колку дров. Делалось это машиной на небольшом лесном заводе — лесопилке, где работа была много утомительнее.

Только здесь я работал вместе с пленным французом, и это уже было для меня некоторым отдыхом, но и всеобщим возмущением: «Почему не приносишь от француза сигарет?» Но оказалось, что за нами здесь следит из окна дома сама владелица поместья — графиня. Она была возмущена: как этот русский пленный может разговаривать на работе с французом! Через два дня меня перевели на спиртной завод. Здесь я должен был разгружать повозки с картошкой или углем, таскать огромные ведра с кипятком и делать многое нужное и ненужное, но самое тяжелое.

В первый же день мастер, жуя бутерброд, самодовольно удостоил меня вниманием, заговорив со мной: «Вот, — сказал он, — скоро Россия будет побеждена, и все русские будут работать на благо Великой Германии». Фюрер отдаст своим верноподданным весь «лебенсраум», чтобы превратить эту дикую страну в кормилицу великой нации, а он, мастер Иоган Бродка, поедет на Украину, где получит имение... «Там есть Аскания Нова, — сказал он, — наша немецкая земля…» «Россия, — возразил я, — не будет побеждена». «Что? — взревел он, вытаращив глаза. — Повтори, несчастный, что ты сказал! Германия сильна, велика и непобедима. Фюрер знает, что делает, а русские — свиньи, скоты, дикари, помесь евреев с монголами, шайзодрек! Весной фюрер будет заседать в Кремле!»

«Яволь, — ответил я, — фюрер может весной засесть в Кремль, если ему так этого хочется. Желаю ему удачи. Но Россию он не победит. Можно победить Красную Армию, можно заставить капитулировать правительство, но завоевать Россию нельзя... Вы рассеетесь на ее просторах, и там вас как кроликов перебьют и перестреляют мальчишки...»

Я думал, что это мои последние слова в этом мире — уже свистнула занесенная над моей головой лопата — так рассвирепел герр мастер Бродка — но женщины, работавшие тут же, завопили и завизжали, и он невольно отступил и ушел, обливая меня отборной немецко-славянской бранью.

Утром солдат велел мне собираться. «В лагерь», — коротко сказал он.

Было начало апреля и первый весенний день. Шел дождь, ветер был напоен ароматами земли, талого снега, намокших деревьев. Такие знакомые и родные запахи! В поле кричали грачи, и дождь шумел по почерневшему снегу. […]

В городке Лабос мы остановились у небольшого приветливого домика. Солдат позвонил, а я прочел на дверях: «Артц Готлиб фон-Бюлов».

«Мы идем к доктору?» — удивился я. Но удивление мое стало еще большим, когда я увидел, как солдат подмигнул мне и приложил палец к губам. Дверь открыла молодая белесая горничная, окинувшая нас нахальным и насмешливым взглядом. Это была простая приемная провинциального врача. Ничего особенного: стол с газетами и журналами, диван, два кресла, портрет фюрера и несколько патриотических изречений в рамках.

Кабинет врача поразил меня своей старомодностью, с которой так не гармонировала ефрейторская тупость портрета Гитлера в массивной раме. Гитлер рядом со шкапами книг! Врач тоже был старомоден: седой, величественный и строгий. Когда мы вошли

в кабинет, лицо врача ничего не изображало, кроме величайшего изумления. Выслушав солдата, врач задал несколько шаблонных вопросов мне и удивленно поднял брови, услышав от меня два или три латинских слова, принятых в медицине. Глядя на мои распухшие суставы, покачал головой и неожиданно спросил меня на хорошем русском языке: «Ваш солдат понимает по-русски?» А когда услышал от меня: «Едва ли?..» — спросил солдата: «Могу я говорить с пленным по-русски?». «Яволь», — отвечал солдат. «Вы студент-медик?» — обратился врач ко мне. Я подтвердил. Зачем мне было говорить ему правду? «Чем вы больны, мне Вам объяснять не надо. Вы это сами прекрасно знаете. Вы также знаете, что ожидает Вас в лагере... Но чем я могу Вам помочь? И я не должен Вам помогать. Я не имею права!.. Война! Все эта война! Если бы только она могла освободить Россию от большевизма!.. Если бы!.. Я тоже родился в России. В Петербурге. Да, в Петербурге. И там остались мои брат и сестра. Они там. Но где они, я не знаю...». Говоря все это, врач волновался, и видно было, что его сильно смущали обстоятельства нашей встречи. Он задал мне еще несколько вопросов, но рассеянно слушал ответы, о чем-то думая, что-то решая. Потом лицо его просияло. «Хорошо! Я дам Вам витамины. Это, конечно, не спасение, Вам нужна хорошая еда... Но витамины вам помогут... Конечно, я не должен этого делать. Но это — мой подарок. Красивый жест — вот это что — и он ткнул пальцем в значок свастики в петлице. — Тут три коробочки по двадцать таблеток в каждой. Надеюсь, что Вы выживете и увидите еще конец войны и вернетесь на родину. А пока постарайтесь уйти из лагеря на работу: Вам нужны еда, движение, воздух. Скоро лето, будет солнце, тепло...»

Потом он долго объяснял солдату, что витамины он дает мне для опыта и чтобы их у меня в лагере не отобрали. Но по лицу солдата я видел, что он всем происшедшим весьма доволен. Он даже повеселел и всю дорогу до станции насвистывал то бодрые марши, то румбу, а потом даже помог поднять мне ногу, чтобы ступить на подножку вагона, и сказал: «Зо, меншен кинд...»

Путь в поезде от Лабоса до Штаргарда был много короче того, какой пришлось перенести мне однажды зимней ночью. И это была первая моя поездка в пассажирском вагоне в Германии. Было даже жаль, что поездка так быстро кончается и надо снова брести своей старческой походкой в ненавистный и страшный лагерь. Только теперь я был введен в главные ворота, чтобы здесь у лагерной «шрайбштубе» быть переданным солдату лагерной стражи. А мой случайный спутник, Фриц или Курт, снова зашагал к выходу из лагеря и скрылся за воротами, навсегда уйдя из моей жизни. Но в памяти моей он остался: забыть его дружеское прощальное подмигивание и сказанное по-польски: «Чимайся, пан» было нельзя.

Лагерь был таким же, как и прежде. Но теперь он кишел уже новыми пленными. Знакомые лица почти не встречались. Лишь одни красные, наглые и отъевшиеся морды полицейских были прежними: те же Коли, Пети, Жорки — так, почему-то запросто, именовались эти изверги, во всем остальном требовавшие царственных почестей.

У бараков меня обступила толпа. «Откуда? От пана?» — посыпались вопросы. «Нет», — отвечаю. «С завода?.. Как там кормили?.. Почему вернули в лагерь?..» «Нет, — отвечаю, — не с завода». «А откуда же?» «От помещика...» «Так ведь это и есть пан! Вот дурак! Был у пана, а говорит — не от пана... Помещик — это по-русски... Помещик и есть пан». «Ну, ладно, — говорю, — пусть будет: от пана...»

«Рассказывай, как там кормили? Как приварок? А хлеба сколько? А картошку самим печь можно?.. А бычков, окурков насобирал по дороге?.. Соли привез?» — спрашивали другие. «Нет, — отвечаю, — не привез соли, и окурков нет...» «Да что ты все, нет да нет!.. Хошь, за один закур две шайки отдам?.. Слышь, дай сольцы хоть на язык!.. Посолонцовать трохи... Ведь заплачу, сволочь буду!..»

«Нет, — кричу, — у меня соли! Была бы, так отдал... Не успел я собраться, не успел с собой взять...» «Вот тоже! — слышу возмущенные восклицания. — Жалеет соли... Его же продать просят. Все равно подохнешь, все полицаи заберут... Да они и так все заберут. Вот погоди до ночи...»

Так никто не хотел верить, что соли у меня нет: ну как может быть, что был у пана и не привез соли? Ведь там даже скотине дают! Для меня же была совершенно непонятна эта странная, чисто русская потребность в соли, когда в тех условиях затяжного голодания она меньше всего нужна. Но тот, кто приносил с собой в лагерь запас красной кормовой

соли, просто обогащался: ему несли и пайки хлеба, и окурки, и все, что мог раздобыть или отнять от самого себя пленный.

Светило солнце. Во французском лагере играла музыка, слышались громкие крики и свистки: пленные французы играли в футбол. От дощатых стен бараков струилось отраженное тепло и слащавый запах смолистого дерева. И лагерь под весенним небом, в этих бодрящих запахах уже не казался таким мрачным, каким он был несколько месяцев назад. Все пленные вылезли на солнцепек и, как ожившие мухи, медленно двигались вдоль теплых освещенных солнцем барачных стен, радуясь теплу и обсуждая последние лагерные новости: сегодня увезли несколько команд, завтра Бог даст и другие поедут; все уже были записаны в разные команды и ждали отправки.

И все жили теперь этой надеждой: скорее вон из лагеря, на работу, в деревню, к панам... Я тоже сижу вместе со всеми и в сотый раз рассказываю, как нас кормили и как мы работали. Но вот кто-то остановился возле меня, заслонив солнце. Я поднимаю голову и вижу присадистую, откормленную фигуру, в стогах и в хорошей шинели, вижу красное лоснящееся лицо, нос грушей и белесые глазки, злые и нахальные, узкий лоб под шапкой-ушанкой, повязка с красным крестом на рукаве:

— Эко! — слышу знакомый голос. — Ты еще не подох?

— Как видишь, — отвечаю. — А ты?

— А что мне сделается! Я ведь не такой олух, как ты... А я думал, что ты давно уже загнулся.

— Плохой, значит, фельдшер. Плохо диагноз поставил...

— Все равно этой весной издохнешь! Куда ты с такими отеками годен?

— А куда ты своим пузом годен? — спрашиваю я в тон собеседнику.

— Да послужу еще Сталину!

— Служи, служи... Хоть японскому императору...

— Ты что? От пана приехал? — меняет тему мой собеседник.

— Да, — отвечаю, — а ты все в лагере сидишь? Дубинкой людей лечишь?

— Нет. Я тоже у пана был. Аж за самым Кольбергом.

— Что же вернулся? Или здесь лучше?

— Лучше не лучше, а назад привезли. Да я уже опять в команду записан.

Когда фигура с красным крестом удаляется, кто-то спрашивает меня:

— Ты давно знаешь Николая Ивановича-то?

— Давно, — отвечаю, — с прошлого года.

— Сволочь!.. Хуже всех полицаев. Народа загубил много...

— Да, — говорю, — на то у него и дубинка, и красный крест на рукаве.

— Это его к тебе полицаи прислали, — говорит кто-то, — узнать, что ты привез и что ты за человек. Вечером придут тебя раскулачивать. Лучше все, что имеешь, сам отдай...

— Мне один товарищ говорил, — замечает другой голос, — что этот самый фершал в одну команду к пану попал, за Колбергом где-то. Так там ребята убить его хотели. Вот его немцы в лагерь и привезли...

— Все равно от других не уйдет... Мы вот, когда нас к панам везли, в феврале это было, узнали, что с нами один полицай из шауляйского лагеря, ну, хоть и слабые мы были, а всем миром навалились, и не ушел... А утром кричим немцам: один камрад капут!..

— Попади только к нам в команду этот Николай Иваныч, фершал, туды его и туды, я его сам ухожу... Хоть он, гад, и земляк!

Эти слова были сказаны таким сочным нижегородским оканьем, что я невольно глянул на говорившего и увидал добродушное широкоскулое лицо и такие ясные, хоть и с хитрецой, глаза, что усомнился в том, что говоривший способен кого-нибудь уходить.

— Вы что же земляки с Николаем Иванычем-то? — спросил я.

— Ну не совсем земляки: он пензенский, слышь, а мы вроде как нижегородские, горьковские... Да все равно — волгари. И мне обидно, что из наших может быть такая сволочь. С красным крестом ходит, а людей дубиной бьет! А ты, тоже наш земляк?

— Да, — говорю, — я такой-то...

— Ну вот и хорошо. А то наших-то здесь мало. Наши-то, волгари да сибиряки, теперь только и воюют... Все там... Да... Правда, мы тут, считай, целой деревней. С самим председателем сельсовета...

— Да как же вы так угораздили деревней в плен попасть? А еще горьковчане... — сме-

ется кто-то.

— Да так вот и угораздило. Двадцать пять человек нас было из одного сельсовета. Как взяли нас на переподготовку, так на фронт и угодили. А потом и плен. Так всей артелью и скитаемся. Да только восьмеро нас осталось теперь: порастерялись по лагерям-то...

— А неужто ты, Ванька, можешь человека порешить? — слышится ехидный вопрос.

Я смотрю на своего нового земляка — он и есть Ванька, Иван Иваныч; на добродушном его лице появляется выражение решимости, глаза загораются гневом:

— А то нет? — кричит он. — Да какие они человеки? Как у меня бабка, бывало, про гепеушников говорила, что они нелюди, так и эти полицаи да всякие санитары и фершала Николай Иванович, така же нелюдь. Ты послушай, что они, подлецы, сделали в одном лагере. Пригнали туда этой зимой команду пленных из Литвы, собрали в лагерь от панов, значит. Выстроили их около бараков. Стоят ребята, под дождем мокнут... Пришел старший полицай Витька. Ходит он как генерал вдоль строя: сапожки хромовые, комсоставские, галифе пузырем, френч английский. Лицом гладкий, усики закручены. Ходит, дубинкой помахивает. Потом кричит: «Кто из вас, товарищи, в плен по немецкой листовке пришел или кто желает в немецкую армию добровольцем поступить, два шага вперед!» Ну, ребята думают: кто в плен добровольно пришел или в армии служить хочет, может, таким лучше будет... А другие, может, и впрямь хотели в армию идти. Только половина добрая, человек сто, а можа и больше, из строя вышла. Отвели их в отдельный барак. Повеселели все, радуются дураки, говорят: «Жди, ребя, сегодня нам солдатский паек дадут...». Только заместа пайка ночью пришли в барак полицаи да с ними человек пять немцев да как начали крошить направо-налево. Эти дубинками чешут, немцы — прикладами. «А, гады! Враги народа! Сталину изменять! Родину предавать! Немцам служить захотели! В плен пришли!..» Что там было — и сказать страшно... Целый день потом покойников за ноги выволакивали... Так ребят разделали, что и узнать нельзя: все мозги выбили...

— Иван Иваныч, — раздается тоже окающий голос, — ты полегче вспоминай-то… Ведь еще не у бауера... А здесь — все та еще власть... Услышат, смотри.

— Боюсь я, Андрей, этих полицаев! — возмутился рассказчик. — Я прямо скажу, что наше первое дело, пока еще война, всех полицаев порешить, а как Бог даст домой вернемся, всем гепеюшникам шею свернуть!

— Ванька, да ты ведь контра! Давно ли ты таким стал? Разве забыл, как под Смоленском заявление в партию подавал?...

— Все подавали... Будто ты не подавал? Комиссар приказал, а наше дело — приказ выполнять. Всей дивизией в партию записывались...

А все-таки что-то изменилось в лагерной жизни. Так же голодны и забиты пленные, так же отечны их серые лица и неуверенна походка, так же подлы и бесчеловечны отъевшиеся полицаи, такие же хмурые лица у немцев-часовых. Но той отчаянности, безнадежности, смертной тоски и просто духа смерти, царивших здесь осенью и зимой, теперь уже нет. Лагерь живет надеждой. Ее дыхание слышится в терпкости весеннего воздуха; она витает над лагерем, наполняя бодростью обессилевших пленных, возрождает в них интерес к жизни. И разговоры уже теперь часто не те, что бывали в страшные зимние вечера и ночи. Даже какая-то уверенность появилась в жестах и речах.

Даже полицейские и весь окружающий их сброд льстецов, доносчиков и «лагерных шакалов» снизили свой тон. Все чувствуют, что пришла весна и лагерному сидению приходит конец. И этому нельзя не верить: каждый день в лагерь являются потребители даровой рабской силы и увозят с собой группы по двадцать-тридцать человек.

Вечер. Мы лежим на своих лагерных полках, слушая, как шелестит весенний дождь о барачную крышу. Разговоры идут самые разнообразные. Это уже не одни только воспоминания о еде, не бредовая фантазия умирающих от голода. Даже смех иногда слышится. […]

4. И снова слухи…

(Письмо третье)

...Да, вот уже и весна. Скоро должна быть и Пасха наша. Только она в нынешнем году будет у нас не совсем такая, какой должна быть. И не оттого что самого Воскресения не будет, что перенесут его на субботу, чтобы праздновать два дня мая. Это еще не беда: давно у нас все праздники на рабочие дни приходятся. Даже то, что переживаем мы теперь

эти самые временные трудности и у многих к Пасхе не только красного яичка, может, и хлеба не будет, — тоже еще не главное. В нашем обиходе и яйца водятся, и многое другое найти так или сяк можно. Не ждать же, когда «большая химия» нас хлебушком побалует? Жить и жрать-то ведь надо! Вот мы и привыкаем ко всему временному и не те, так другие трудности, а переживаем.

Беда у нас, Василь, в другом. Случилось у нас так, что теперь и помолиться стало негде и к заутрене ехать некуда. Не в Москву же к патриарху ехать! Это будет больше, чем за семь верст киселя хлебать. Ну а без заутрени да кулича освященного и разговеться, как чин по чину полагается, нельзя. Беда наша в том, что остались мы нынче и без попа, и без церкви. Церква, конечно, стоит на своем месте, да замок на ней.

Я, никак, писал тебе, что у нас есть тут верст за пятьдесят церковь? Ну так вот, был там поп со всем причтом, и службы справлялись и по субботам, и воскресеньям, и по всем праздникам. Хор был там. Говорят, артисты из областного театра петь приезжали. Но только получилось так, что народ наш в ту церкву не очень ходил. А почему? Я тебе уже писал. Да и далеко это было для нас; пешему-то это раньше было хорошо на богомолье ходить. Да и не нравилось там нашему народу: говорили, что поп-де молодой и властями поставлен.

И был у нас в районе другой батюшка. Настоящий, как полагается, только что в гражданское одевался, работал бухгалтером, а службы служил не в церкви. К нему-то и бабы, и мужики, и парни с девками, и малые ребята тишком ходили. И все его много любили. Молиться же собирались по домам: сегодня у одного, завтра у другого. Да и тайны особой в том не было: все в районе про то знали; и как не знать, если на службу туда ходили жены всяких мелких начальников и разных служащих?

Все знали, и все было хорошо, покуда какой-то иуда-предатель не стукнул в областную газету, а может, и еще куда. Конечно, начальство сразу всполошилось: испугалось, как бы самим за недосмотр не попало. И схватили отца Петра, увезли в область, а потом судили там его как какого-то сектанта и свидетеля. Так и не стало у нас попа. Долго ли, коротко ли, а стали наши бабы за пятьдесят верст в законную церкву ходить. Ведь привыкли теперь к этому, не то что до войны. Теперь, брат ты мой, никто, почитай, без церкви не живет, и очень много народа Богу молятся. Сходили наши бабы в ту церковь раз-другой, и пошел слух, что и батюшка — золото, и служба очень хороша, и такая правильная, будто и при царе такой не было. На праздник, говорят, в церкви не протолкнешься.



О. Марута. 2004 г.

Но вот прошлой осенью на какой-то богородицын праздник, только не на Покров, а к зиме ближе, собралось в ту церкву народа видимо-невидимо. А пока служба еще шла, появились у церкви эти самые молодцы с повязками на рукаве (ну, прямо лагерные полицаи!); пошныряли среди народа, ребятишек начали отгонять, пошумели немного, да видят, что народ с ними не церемонится, ушли. А двое из них в церковь, в алтарь затесались и с батюшкой о чем-то говорили.

Потом, когда стал народ к кресту подходить, батюшка и говорит: «Слушайте, люди добрые... Помните, как в Евангелии говорится, что пришли дети к Иисусу, а другие возбраняли им это и не пускали их к Нему, а Спаситель увидел то и сказал: “Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царствие Божие”. А вот теперь слуги кесаря приказывают нам не пускать детей ни в церковь Божию, ни к таинствам... То есть оставить малых сих без Бога... И сказал я этим посланцам власть имущих, что сам я как иерей не могу нарушить Слова Господня и не могу возбранить де-

тям приходить ко Христу. Воля Спасителя нашего для меня есть высший закон... Вы же, братие, поступайте со своими чадами так, как велит вам ваша вера и совесть...»

И многие тогда поняли, что напрасно грешили мы на нашего батюшку, и стало нам радостно за него и страшно. И не прошло много времени — забрали отца Никодима, потом судили его открытым судом по таким статьям, что просто диво: одна-то статья, никак 144, за привлечение малолетних к церковным службам, а другие за присвоение церковных средств да за спекуляцию...

Когда уводили из суда отца Никодима, кругом плач стоял, мужики и те плакали. И остались теперь мы и без явного, и без тайного. Когда же слышал я на суде, что свидетели говорили да что прокурор кричал, вспомнилось мне все старое, все то, как я с другими ребятами ходил колокола снимать да непотребные частушки с комсомольцами горланил, завидя попа... И стало мне тошно, как самому Иуде... Вот почему и говорю я, что Пасха у нас в этом году будет не радостная...

А вот еще что было со мной совсем недавно, недели так две-три назад. Приходят ко мне два человека, спрашивают, где живет такой-то? Отвечаю: я и есть он самый. Поздоровались они, потом говорят, что очень рады знакомству. Ну, люди как люди, ничего особенного. Спросили, где был в плену да когда. Сказали и они, что тоже в плену сидели, а теперь являются представителями секции бывших военнопленных какого-то там комитета. Поговорили о том о сем, да как живу, да что делаю. Потом спрашивают:

— Вы теперь товарища по плену, кажется, нашли, земляка своего, и переписываетесь с ним?

Вижу, что люди знают — отпираться, значит, нечего.

— Да, — говорю, — имел одно-два письма...

— Вот и отлично! Это, знаете, очень даже хорошо, что имеете переписку. Надо нам обязательно развивать самую тесную связь с нашими людьми, что еще скитаются за рубежом. Этой связью мы поможем нашим братьям, оторванным от матери-родины. У нас теперь, — говорят, — создан особый комитет по развитию культурной связи с соотечественниками... А не хотели ли бы Вы со своим старым товарищем по радио поговорить?

— Почему, — отвечаю, — не поговорить? Очень бы хотел.

— Отлично, — отвечают, — отлично. Мы Вам в этом можем помочь. Наш комитет постоянно устраивает такие беседы с соотечественниками за рубежом. А иногда, знаете, даже встречи устраиваются. Конечно, при особых к тому данных... Обычно мы делаем так: записываем ваши слова-обращение на пленку, а потом передаем по нашему радио и в газете нашей печатаем. А люди там слушают и нам отвечают, пишут нам, благодарят и тому подобное. Мы вам поможем и текст обращения составить, чтобы легче было по написанному говорить...

— Да как же? — спрашиваю. — А может, мой товарищ-то и радио не имеет или никогда его не слушает? Чего же напрасно буду я на весь мир кричать?

— На этот счет беспокоиться нечего. У нас все предусмотрено. Ваше выступление мы будем передавать несколько раз, и кто-нибудь его услышит из знакомых вашего товарища. Вы не думайте, что он там один. Там есть и наши друзья, и члены нашего комитета. Они ему передадут о Вашем выступлении, тогда ему захочется послушать голос старого товарища. Мы же с помощью нашей связи известим вашего друга о дне передачи.

— Ладно, — говорю, — ладно... Только я сам сперва должен ему о том написать. Чтобы он знал, что я это говорить буду, а не другой кто.

— Да, — говорят, — это тоже можно сделать. Предупредите товарища.

Так вот, Василь, если теперь что — знай, как все это было. Ну да ты человек ученый и знаешь, что к чему. […]